

Новая Польша 11/2004

0: ВЕНОК ПОЛЕГШИМ

В эти дни, в эти первые недели после кончины Милоша (пишу в сентябре) естественно начать статью с цитаты из него - правда, так оно и было задумано, когда поэт еще был жив. Его смерть заставила отложить статью о "двадцатилетних варшавских поэтах", которую я первоначально хотела отдать в номер, посвященный 60-летию Варшавского восстания и оказавшийся наполовину посвященным памяти Милоша - очевидца восстания. Теперь она выходит уже и после годовщины подписанной повстанческим командованием капитуляции... Выходит в ноябре - том месяце, где у католиков день Поминовения Усопших (а у нас - Дмитриевская родительская суббота, тоже поминовение усопших).

За капитуляцией Варшавского восстания, как известно, последовали несколько месяцев систематического разрушения столицы непокорной страны. С детства мне запомнились кадры из фильма "Непокоренный город": немцы с огнеметами, движущиеся от дома к дому (теперь разрушение Варшавы вы можете увидеть в "Пианисте" Полянского)... А позже - смешная и горькая карикатура Збигнева Ленгрена: один уцелевший дом в пролете двух рядов руин - и послевоенный чиновник, указывающий на него со словами: "Вот здесь мы проложим улицу!"

...Но начнем все-таки с Милоша:

В наш век есть то, чего не увидали

Двадцатилетние варшавские поэты, -

То, что идеям сдается, не Давидам

С пращою. (...)

Стояла раненая Богоматерь

Над желтым полем и венком polegших.

Те юноши растерянно касались

Стола и стула утром, словно в ливень

Нетронутый находишь одуванчик.

Для них дробились в радугу предметы,

Размытые, как в отошедшем прошлом.

Возможность славы, мудрости, покоя

Они своей молитвой отвергали.

Все их стихи - о мужестве молебен:

"Когда мы будем изгнаны из жизни,

Наш дом златой, в постель из малахита

Ты на ночь нас - на вечную - прими".

И ни один герой у древних греков

Не шел на битву так лишен надежды,

Воображая свой бесцветный череп,

Откинутый ботинком равнодушным.

Поляком или немцем был Коперник?

У памятника пал с венком Боярский.

Должна быть жертва чистой и бесцельной.

Тшебинский, этот новый польский Ницше,

Шел на расстрел со ртом, залитым гипсом,

Запомнил стену, медленные тучи,

Секунду глядя черными глазами.

Бачинский пал ничком, лицом к винтовке.

Восстание спугнуло голубей.

Строинский, Гайцы были внесены

В багрянец неба на щите разрыва.

("Поэтический трактат")

Об этих юношах, "двадцатилетних варшавских поэтах", "Давидах с пращой", рассказывала я в Москве году в 73-74-м нескольким десяткам старшеклассников из 2-й математической школы. Знаменитой школы, где еще незадолго до того, до своей вынужденной эмиграции, преподавал мой друг Анатолий Якобсон и куда меня позвали рассказать - как было сказано, о чем я захочу. Например об Ахматовой. Звал меня туда человек отчаянный, учитель математики и будущий политэк Валерий Сендеров. Не будучи такой отчаянной, я решила, что выступление об Ахматовой, с чтением отрывков из ненапечатанного в СССР "Реквиема" и ненапечатанного же эпилога "Поэмы без героя" - а иначе не стоило и разговор заводить, - может оказаться опасным для школы: оттуда уже и так выметали былой либерализм. (Это было после того, как там разогнали половину учителей и в "Хронике текущих событий" появилась заметка "Конец Второй школы".) И стала готовить "своих поляков": по крайней мере тема мало кому в те времена в нашей стране известная, да еще, как я надеялась, интересная ребятам, которым было всего на несколько лет поменьше, чем героям моего повествования. Тут мне позвонили и сказали, что, пожалуй, лучше все-таки провести эту встречу не в школе, а дома у учительницы литературы. И то верно: мое имя тоже могло произвести на школьное начальство, мягко говоря, неблагоприятное впечатление.

То, что я рассказала в тот вечер школьникам в, как мне помнится, полуподвальной квартире неподалеку от Зубовской (и от печальной памяти Института Сербского), где входящих встречала большая фотография Солженицына на стене, сжато изложено в моем комментарии к переводу "Поэтического трактата" (1959, перевод - 1982):

"В 1943 г. Третий Рейх торжественно праздновал 400-летие со дня рождения „великого немецкого ученого" Николая Коперника. В знак протеста молодые поэты из группы „Искусство и нация" решили возложить венок к памятнику Коперника. Памятник охранялся - именно во избежание манифестаций польского патриотизма. Венок возложил Вацлав Боярский, Здислав Строинский делал фотографии, Тадеуш Гайцы с пистолетом прикрывал акцию. Уходя от погони, Боярский наткнулся на патруль и был смертельно ранен - он умер в тюремной больнице. Арестованный Строинский успел уничтожить пленку, а затем и доказать, что он, провинциал, в Варшаве оказался случайно и ни к чему отношения не имеет. Освобожденный через несколько месяцев после ареста, он погиб в 1944 г. во время Варшавского восстания в один день с Гайцы. Анджей Тшебинский, поэт, прозаик и драматург, был в первую очередь теоретиком этой группы, патриотизм которой доходил до великопольского шовинизма и имперской идеологии и приводил к проповеди утилитарного искусства. В 1943 г. Тшебинский попал в облаву и был расстрелян в развалинах варшавского гетто. Чтобы расстреливаемые не могли кричать, им заливали рты гипсом.

Кшиштоф Камиль Бачинский (не примыкавший к группе „Искусство и нация", но так же, как и вышеназванные поэты, боец Армии Крайовой) был, несомненно, самым многообещающим поэтом этого поколения. После смерти его сравнивали с Юлиушем Словацким. Все эти поэты погибли в возрасте 22-23 лет. Милош во время оккупации хорошо знал всю эту молодежь, составлявшую, как и он, часть подпольной культурной жизни Варшавы. (Многие

страницы дневника Тшебинского посвящены полемике с Милошем: идейное несогласие борется с восхищением.) В 1958 г. Милош написал стихотворение „Баллада"... - далее в комментарии следовали отрывки из стихотворения, которое я теперь перевела целиком - см. "Новую Польшу", 2004, №9.

Но тут, наверное, надо объяснить, как и почему собственно пришла я к этой теме - не с потолка же я ее взяла, заменяя ею рассказ об Ахматовой.

В конце 1950-х - первой половине 1960-х польский язык для многих моих ровесников стал прежде всего "окном в Европу": по-польски читали еще не изданных по-русски Кафку, Фолкнера и других европейских и американских писателей (в СССР, правда, Кафка был уже издан, но, увы, только по-эстонски). Я же почти сразу, едва научась - да и не научась еще, а научаясь - толком читать, погрузилась в польскую литературу и новейшую историю. (Конечно, нужно сделать оговорку: все, что я читала, прошло двойную цензуру: сначала издательскую в ПНР, затем - советскую при покупке товара в магазин книг стран народной демократии - он еще не назывался "Дружба". Но эта последняя все-таки частично полагалась на то, что прямой антисоветчины польские цензоры не пропустят (они и не пропускали), а издательская цензура в ПНР все же была несравнима с советской. Шли 60-е годы, и если о Катыни в Польше ничего нельзя было публиковать, то о Варшавском восстании 1944 г. - уже можно.)

Думаю, отчасти влияло польское же кино: "Канал", который мне случайно удалось увидеть во время фестиваля молодежи в 57-м году, "Покушение", да и первые польские послевоенные фильмы, почему-то не получавшиеся вполне по-советски соцреалистическими: вышеупомянутый "Непокоренный город", "Последний этап", "Запрещенные песенки"... Из фильмов конца 50-х "Настоящий конец большой войны" вышел в советском прокате под идиотским названием "Этого забыть нельзя", и никто на него не шел - не пошла и я (посмотрела много лет спустя). А название фильма знала -из польских журналов, так же, как знала по кадрам в этих журналах "Пепел и алмаз", вышедший у нас только в 1965-м, через год после того, как я прочитала роман Анджеевского, на котором окончательно научилась читать по-польски, и за год до того, как этот роман наконец вышел в русском переводе. Дата появления романа по-польски - 1946, дата выхода фильма в Польше - 1958.

Роман - как я поняла куда позже, во многом лживый - показывал историческую обреченность главного героя, бойца Армии Крайовой, с приходом "народной власти" уходящего в вооруженное подполье. Картина - вышедшая тогда, когда АК перестали называть "шутом гороховым реакции", когда отсидевшие аковцы вернулись из тюрем, а в полусвободной оттепельной прессе встал вопрос о пересмотре роли АК и оценки Варшавского восстания, - смещала акценты: герой был обречен, да, но это была трагедия, и все чувства зрителя - советского зрителя середины 60-х - были на его стороне. Когда Мачек, молодой Збигнев Цыбульский, в финале фильма шел, точнее волочился, зажимая смертельную рану в живот, последними силами цепляясь за жизнь, за чье-то белье на веревке, оставляя на нем кровавые пятна, я корчилась, сама хваталась за живот, как будто была ранена вместе с ним. А Мачек был ровесником "двадцатилетних варшавских поэтов", бойцом АК, как они, только их трагический конец наступил раньше, и им не пришлось разбираться с послевоенной действительностью.

Одного из этих поэтов, как раз выжившего - и по-своему трагически погибшего в разборках с послевоенной действительностью, - не упомянутого Милошем в "Поэтическом трактате" (зато язвительно проанализированного в "Порабощенном уме"), я уже знала - сначала прозу, потом стихи. Тадеуш Боровский написал об Освенциме, как позже Шаламов о Колыме. То есть как никто другой. (Да только Боровского я прочла раньше, чем Шаламова.) Но Освенцим, куда он попал умышленно, вслед за арестованной невестой, спас его от гибели в Варшавском восстании. И о нем я тоже говорила в тот московский вечер, примеряя его судьбу на погибших поэтов, размышляя о том, что было бы с ними...

Но я еще не кончила о том, почему я так прикипела к этому периоду новейшей польской истории. Тут было острое - куда острее, чем в отношении более далекого прошлого, разделов, восстаний, - чувство личной исторической вины. Пусть не говорят мне, что исторической, национальной вины не существует, а существует лишь ответственность каждого за то, что он сделал или не сделал. Я отвечу, что никто не может возлагать историческую вину на отдельного человека, но если уж отдельный человек ее испытывает, сам берет ее на себя, то это его эмоции и его право. Мое право. Потому-то я написала уже в 70-е: "Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом". Варшаву - в 44-м, Прагу - в 68-м.

Но не только 44-й. Одно из моих первых детских воспоминаний: 1940 год, я уже научилась читать и читаю в газете крупный заголовок "Первая годовщина освободительного похода Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию". В свои четыре года я, конечно, и не сомневалась, что это был "освободительный поход". К 60-м годам я уж точно знала, что это не так, хотя об этом не говорилось ни в каких книгах, которые я читала. Правда, протокола к "пакту Молотова-Риббентропа" мы тогда еще не знали: в самиздате он появился в 1968 году. Но что Советский Союз напал на Польшу, сражавшуюся на западе с Германией, было ясно и без этого.

Знала я и про Катынь. Темно, смутно - но, как позже верно сказала одна моя знакомая (М.В.Розанова), чтобы убедиться в советской вине, достаточно было прочитать заключение советской комиссии, возлагавшей вину на немцев.

Ни в 1939-м, ни в 1940-м (год катынских расстрелов), ни в 1944-м я, конечно, не могла нести ответственность за совершённое руками "партии и правительства", но чувство вины - не предмет судебного рассмотрения, оно не просит вещественных доказательств, оно возникает (или не возникает). Вот, может быть, главный корень того, откуда взялась "моя Польша" и мой пристальный интерес к АК и Варшавскому восстанию.

И еще один отклик на статью до ее публикации, от Нины Горлановой из Перми: "В мае этого года я ездила на съезд Союза российских писателей в Смоленск, и мы были в Катыни. Все там неостановимо плакали, жалея поляков и своих тоже (свои-то и не все похоронены). Мы раньше про Катынь знали, конечно. И про то, как наша страна предала Варшавское восстание в 44-м году".

На том московском вечере я ставила ребятам пластинки. Две. Одна из них - Эвы Демарчик. Она пела песни композитора Зигмунта Конечного на стихи польских поэтов - тот редкий случай, когда я не побоюсь сказать "пела поэзию". Среди исполняемого были "Дожди" на стихотворение Кшиштофа Камиля Бачинского и еще одна песня, называвшаяся "Стихи Бачинского" - монтаж фрагментов из нескольких стихотворений. Обе меня заворожали. Я следила за "Дождями" по тексту, выискивала строки и строфы, использованные в "Стихах Бачинского". Впервые я начала не только глазами читать, но и действительно воспринимать иноязычную поэзию. Я ставила пластинку своим друзьям - и их тоже потрясал ее голос, ее интонация, - и пыталась пересказывать, о чем она поет.

Я стала искать все, что можно прочесть о Бачинском, о его времени, его поколении. Знаменитыми стали слова одного известного критика (Станислава Пигоня), сказанные другому (Казимежу Выке) при известии, что Бачинский вступил в штурмовые группы АК: "Что ж, мы принадлежим к народу, судьба которого стрелять по врагу бриллиантами". Сравнивая после войны Бачинского со Словацким, отмечали, что если бы Словацкий погиб, как Бачинский, в 23 года, то от него не осталось бы такого наследия. О Кшиштофе Камиле (второе имя родители дали ему в честь Норвида, автора стихов о "пепле и алмазе") можно не иронически сказать, что он и жить торопился, и чувствовать спешил. Разглядывая фотографии, я попросту влюбилась и в Бачинского, и в его такую же юную жену Барбару - тоже погибшую в Варшавском восстании: она была смертельно ранена 26 августа и умерла 1 сентября - с подпольно изданным сборником стихов мужа в руках. Сам Бачинский погиб 4 августа.

Надо сказать, что о Бачинском, как показали мои розыски (но это, пожалуй, было уже как раз когда я готовилась к своему выступлению перед школьниками), писали и в СССР. Одна статья о нем называлась "Солдат, поэт времени бурь". У Бачинского есть строка о себе: "Солдат, поэт, времени пыль", - советский славяновед, умышленно или неумышленно, перепутал "burz" (бурь) и "kurz" (пыль, прах), а чтоб было понятней, переставил запятую. Между тем эта олицетворенная в поэте "пыль времени", возвращающаяся у Бачинского и как "куж", и как "пыл" (притом на рифмах - он вообще, что странно и трудно для польской поэзии, любил мужские рифмы), стоит нашей "лагерной пыли".

"Дожди" в своем переводе я тогда читала школьникам - прямо под голос Демарчик. Но я крутила им не только Демарчик. Я принесла еще пластинку с записью спектакля варшавского Классического театра "Не приду к тебе сегодня", монтажа песен времен войны, который я видела в 69-м году в Москве на сцене Малого театра. Знающие люди потом говорили мне: "Это же мочаровцы!.." (польские национал-коммунисты, названные так по имени члена политбюро ЦК ПОРП, министра внутренних дел Мечислава Мочара, одного из организаторов и вдохновителей подавления студенческих волнений 1968 года и последовавшей за этим антисемитской и антиинтеллигентской кампании). Но московский зал видел и слышал только одно: вот они, поляки, угнетенные, но не задавленные, не побежденные. Да, конечно, в спектакле (когда что-то об этом знаешь) больше были слышны песни малочисленной Гвардии и Армии Людовой, организованной коммунистами, но где-то вдали, краешком раздавались и "Алые маки на Монте-Кассино" (уже знакомые советским зрителям по кинофильму "Как быть любимой"), в полную силу звучал аковский "Марш Мокотова" - гимн Варшавского восстания, и залихватски разливалась песня ударных батальонов "О Наталья" Вацлава Боярского. Она была посвящена невесте Боярского Халине - "Наталье" по подпольному псевдониму. Боярский, как Мачек в "Пепле и алмазе", был смертельно ранен в живот (25 мая 1943) - они обвенчались в больнице, жена оставалась возле него до самой смерти, до 5 июня. Они были еще моложе, чем Кшиштоф и Барбара. Халина Боярская после восстания осталась в живых.

"Я должен тебе показать свою последнюю песню, - сказал он мне перед самым отъездом на лечение в Закопане, - такую слегка шутиливую. О Наталье".

Так приводит слова Боярского Анджей Тшебинский в статье "Воспоминание о друге". Потом друг вернулся из Закопане с готовой песней на свою же мелодию.

"Наступал вечер. Мы везли на рикше какой-то груз нелегальной литературы. Асфальт и горящие высоко, под небосводом, фонари. Он рассказывал про Закопане. Вдруг вспомнил. „Есть, - крикнул он, - могу ее тебе спеть целиком". Речь шла, разумеется, о „Наталье". Он пел вполголоса. Асфальт и фонари высоко под небом. И нелегальщина - неизвестно зачем во всем этом".

Были в том спектакле, который я увидела в 69-м году (а пластинку купила уже после 72-го, после своего освобождения) и песни на стихи Гайцы и Тшебинского. Тадеуш Гайцы не оставил такого богатого и зрелого наследия, как Бачинский (да и был годом младше), но в его последних стихах - уже не только обещание.

Когда цветут сирени - ты принеси сирень,

Но не мешай уйти мне в прекрасный майский день.

Ты приросла мне к сердцу, приклад к руке прирос,

И я тебя с винтовкой навек в поход понес.

Припев:

Поход ударной группы и мой (и мой, и мой).

Так в солнечное утро мы песню запоем.

Землей славянской мягкой легко идти на бой -

Империя возникнет, когда мы кровь прольем!

А если будет лето - дай колос мне золотой,

Как ты, согретый солнцем, горячий, налитой, -

И хоть бы не вернулся к тебе я цел и жив,

Я нес в твоих колосьях славянских запахах жнив.

Припев.

А если будет осень, калины мне нарви,

Но не целуй, родная, обратно не зови.

Ты приросла мне к сердцу, приклад к руке прирос,

И я тебя с винтовкой навек в поход понес.

Припев.

Несу я на границу сирень, калину, рожь -

Из них граница будет - любовь несем, не кровь,

Граница из любви на дне солдатских душ,

Край родины ложится, где в горле сводит дух.

Припев.

В спектакле эта песня звучала (и звучит на пластинке) не совсем так. Вместо "А если будут сирени..." первой строки песня начинается - и называется - словами "А если будет весна..." (оба перевода здесь дословные). Вполне возможно, что это фольклорный вариант, где "восстановлен" полный параллелизм зачина трех первых

куплетов. Естественно, не звучал и припев в его "имперском" виде, но не исключая, что и в фольклоре этот сугубо идеологический и ненужный (даже неясный) рядовому партизану элемент пропал.

Гайцы и Строинский, по последним данным, погибли не в один день (как раньше думали): Строинский - 16 августа, Гайцы - 21-го или 22-го.

Гайцы стал редактором подпольного журнала "Искусство и нация", органа их "Культурного движения", после расстрела Анджея Тшебинского (который в свою очередь заступил на этот пост после гибели Вацлава Боярского). От Тшебинского после его страшной смерти с загипсованным ртом - он погиб, как и Боярский, в возрасте 21 года - остались стихи, пьеса, неоконченный роман, статьи, дневник. Тшебинскому - другу и политическому противнику - посвятил свой рассказ "Портрет друга" Тадеуш Боровский.

Так вот, что было бы с ними, останься они в живых? Может быть, неслучайно в спектакле, как-то связанном с "мочаровцами" (по-нынешнему говоря, "красно-коричневыми"), нашлось место мальчикам из "Искусства и нации". Некоторые их ровесники и единомышленники вполне вписались в "послевоенную действительность" (но я не знаю, легко ли, сразу ли и после каких испытаний, и поэтому не стану называть имен). Многие из них своей карьерой были обязаны Болеславу Пясецкому. Один из них в 68-м году, в самое погромное время, выдвинулся на ведущее место в Союзе польских писателей, но ему же, его книге об этом поколении, вышедшей еще в 1963 г., я обязана сведениями о молодых поэтах.

"Культурный империализм", который проповедовал Тшебинский, после войны входил в неплохую смычку с имперской идеологией соцлагеря, но у кого-то его мог пересилить польский патриотизм, и тогда юноши могли уйти "в лес", воевать, выйти по объявленной для подполья лживой амнистии - и попасть в тюрьму, или не выйти - и быть застреленными в бою или расстрелянными в застенке. Мы никогда не узнаем, что случилось бы с каждым из них, но не воображать себе эти страшные дилеммы судьбы я не могу. В войну все было проще: выбор был один.

А что было бы с Бачинским?

Об этом, оказывается, думала не я одна. В 1980 г. Вислава Шимборская написала стихотворение "Средь бела дня". Привожу его в своем переводе:

В дом творчества в горы ездил бы он,

к обеду в столовую спускался бы,

на четыре ели с ветки на ветку,

не отрясая с них свежего снега,

из-за столика у окна поглядывал бы.

С бородкой, подстриженной коротко,

лысоватый, в очках и с проседью,

с огрубевшими, усталыми чертами лица,

с бородавкой на щеке и морицинистым лбом,

словно ангельский мрамор облепила глина -

а когда так случилось, и сам бы не знал,

потому что не махом, а по чуточке

повышают цену тем, кто раньше не умер,

и он тоже эту цену платил бы.

О мочке уха, задетой осколком

- когда на мгновение голова отклонилась, -

"чертовски повезло", говорил бы он.

Дожидаясь бульона с макаронами,

газету с сегодняшней датой читал бы он,

большие заголовки, маленькие объявления,

или по скатерти барабанил пальцами,

а ладони были бы давно немолодые,

с растресканной кожей и толстыми венами.

Иногда от порога кто-то позвал бы:

"Пан Бачинский, вас к телефону!" -

и ничего тут не было бы странного,

что это он, и что он встает, одергивая свитер,

и не спеша направляется к двери.

Разговоров при виде этого не прерывали бы,

Замерши и затаив дыхание, не застывали бы,

потому что это обычное событие - а жаль, а жаль -

так обычным событием и считали бы.

Да, так и считали бы. Но "обычного события" не произошло, "чертовского везения" не было. И все мои спекуляции - на пустом месте. И все-таки думаю, что в партийные писатели он бы не попал: националистом, тем более шовинистом, он никогда не был, и идти в партию, чтобы "замаливать грехи", не было бы нужды; не был он, выросши в семье польского социалиста, и слишком левым, чтобы кинуться в объятия новой идеологии. Судьба Милоша? Сначала почет выжившему крупному поэту (вплоть до дипломатического поста), потом эмиграция? Судьба Херберта? Отказ печататься в прокоммунистических изданиях и первый сборник стихов в 56-м году? Или, как у Шимборской, тихая жизнь, с изредка выходящими книгами - может быть, с траурным панегириком Сталину, как то случилось со многими уважаемыми поэтами? А потом, в более или менее вегетарианские времена, - дом творчества в горах, в том самом Закопане, откуда Вацлав Боярский привез свою песню о Наталье? Все варианты возможны - и все, увы, невероятны.

Остается эпитафия всем погибшим - написанная тем, кто погиб позже, не вместе с ними и не от вражеской, а от своей руки. Написанное в Варшаве, в 1942-м, еще до Освенцима, стихотворение Тадеуша Боровского "Песня" (перевод Леона Тоома, опубликован в: Современная польская поэзия. М., "Прогресс", 1971):

Оглохли звезды в небесах -

Язык сраженья им неведом.

Ты вспомнишь о своих рабах -

О нас, грядущая победа?

Железный лязг среди степей

И топот ног, а мы все старше.

Ревет голодный Колизей,

Илотов чествуя на марше.

Знамена вражды, братский зов,

И песня париев, и вера,

Фальшивый грош, кривая мера,

Качанье вечное весов.

Но остается прочность плеч:

Не зря, не зря мы топчем камни,

Не зря в бою сжимаем меч

Окровавлёнными руками.

Не зря - опять навывлет грудь

И смерть с недвижными глазами:

Илот опять выходит в путь,

Пока торгош гремит весами.

Как труп на поле боевом,

Лиловы небеса в потемках.

Что мы оставим? Ржавый лом

И смех язвительный потомков.

1: ПОГИБШИЕ ПОЭТЫ

Вы сожжены, вы расстреляны, вы безмолвны,
мои товарищи юности, я пишу вам.

Текут и текут над вами земные волны,
шумят — зеленым шумом.

В темных земных пучинах полузамерзших
пусто, недвижно, немо в загробном мире —
где же такая боль, чтобы губы мертвых
заговорили?

Ночь, над стволами, из вас растущими, высясь,
вихрем шумит, будто все же еще зачем-то
ваши уста, на которых земля да известь,
слов ищут тщетно —

Поздно уже, слишком поздно связанным крепко

руки заламывать в бурях неугомонных.

Тщетно живых вы зовете в выкриках ветра,
в горестных столах.

Тщетно, все уже тщетно. Вихрь клубится заблудший,
зовет травяная глубь, лугов замогильных зелья,
дальше иду, под землю, глубже и глубже,
к вам в подземелья.

Поздно уже, слишком поздно. И я умолкну,
мину, кану в забвенье. В мертвых зеницах
деревья колышутся, с иволгами, а волны
ослепших земных потоков будут струиться —

И мы, привыкнув к папоротниковым корневищам,
к корням берез, к гуще малины дичайшей,
плывем, умолкнув, куда? и чего мы ищем?
дальше, дальше — —

Перевел Владимир Британишский

2: СТИХОТВОРЕНИЯ

МОЛИТВА (I)

Плечами — руки, бденья — прахом!

И что могу под этим небом,

где черен дым и глухи орды

гонимых голодом и страхом?

Не утолен ни сном, ни хлебом

и брошен Господом, как мертвый, —

что я могу под этим небом?

Не именуй по-человечьи:

мне очи выело позором,

и зло горит на мне печатью,

а мир не садом дышит — мором,

и плаха ждет, а не объятье.

Не именуй, но в Божьем слове

сомкни уста мои, даруя
хоть песню, чтоб не гробовую,
хоть шлем, чтобы не залит кровью.

Не пресвятивши в адской печи,
не именуй по-человечьи.

Лиши плетей, что камень ранят,
и прежде чем нездешней силой
сдерешь песок, приросший к векам, —
чтоб не чернеть лицу могилой,
когда оно в Тебе предстанет,
дай хоть погибнуть человеком!

Июль 1942

Перевод Бориса Дубина

СНОВА ОСЕНЬ

И вот уже осень. Птицы как будто руки —
прощальные руки неба — над злою землей.
Заплачемте, ах, заплачем, пока не стали золой
мы, грустные, одинокие, не названные при свете.
Уже сатана или Бог показал нам и кровь, и сталь
в городах, над которыми медленный дым —
будто усталый ангел над колыбелью смерти.
Уже этот нож прижатый в самое сердце вращал,
так долго он был у груди, а развалины говорили,
и каждое мертвое дерево тоже пело:
«Обернешься — и в прах обернешься, беспечное тело».
«Хоть что-нибудь есть, кроме тьмы?» — спрашивали мы плача,
плача в мертвой столице, поруганной и безмолвной,
и мы стояли во тьме, и не встретились наши руки,
а взгляды были видны только при свете молний.
И только ветер гремел на могилах последних улиц,
и бессильные вьюги садились скалам на плечи,
и мы были будто сумрачные, неверные речи,

и мир соскальзывал с век, как звезда или как слеза.

Как землю узнать глухую? и как назвать континенты,
где полумертвые дети, как полусонные старцы,
уже забывают слова, еще не поняв значенья,
и страны, где никогда не услышишь речи,
и руки, все до единой — словно морозные клещи?

И вот уже осень. Деревья шумят и плещут,
снасти умершего дома, крылья умершего сна,
будто и не они встают над разрубленной головою,
будто и не было сотен растоптанных рук.
И рядом идет человек, ах, человек ли? глаза не видны —
так — обожженный ствол, снова забывший небо, —
и на гнилой соломе кричит, отгоняя сны,
когда к нему ангелы входят и ждут — молчаливы, грустны.

12 сентября 1942 г.

Варшава

Перевод Георгия Ефремова

ДОЖДИ

Седые стебли, серый шум в окне,
а с улиц тянет горестью и смертью.
Твой дождь любимый — об одной струне,
желанный дождь, подобный милосердью.
Все дальше поезда и долог-долог
их путь — не твой? ну что ж? не твой —
к озерам слез в осенних долах
с остеклянелою листвой.
И стоит ждать? И ждать ли стоит?
Дожди — как жалость, в них и канем,
и кровь и человека смоем
и воздух, вымощенный камнем.
Все ждешь ты, бедное надгробье?
А беглых лет письмо косое

с лица сплывает исподлобья

не то дождем, не то слезою.

И что любовь, да не такая,

и что слеза, и та впустую,

и что одна вина другую

опережает, окликаая.

И что удар не тронул тела,

а лишь заглох, как птица в поле,

и лишь душа осиротела,

как от видения в костеле.

растет во тьме стеклянный шорох —

и отплывает мир окрестный.

Уносят дальше все, кто дорог,

чужую долю ноши крестной,

еще кого-то не достало,

еще одна невозвратима, —

прильнут к окну как из металла

и вновь, неузнанные, мимо...

И дождь уносит, дождь их косит

косой холодной и немою.

Покроет тьмою — смое тьмою.

Плесну рукой в колодце мрака,

над темными ключами стоя,

и молча стыну, как собака

под плетью голоса пустою.

И не прикончен, и не начат,

и не добит, и не обласкан,

не знаю — дождь, душа ли плачет,

что все для Господа напрасно.

Стою один до ночи поздней.

Лишь я и ночь. И капля, капля —

все отдаленней, все бесслезней.

Оконч. 21.11.43 г.

Перевод Анатолия Гелескула

ДВЕ ЛЮБВИ

И вот полюбил ты хрупкое, теплое тело,
что песнь соловьиную запечатлело
иль молоко в стеклянном стройном кувшине;
и скрипки грусть, и хор листвы — для этих линий.

Ты полюбил и ставишь перед собою
ручья течение голубое,
чтоб два лица слились в одном движении:
и подлинное твое, и отражение,
укрыли землю огнем, небо — жасмином,
хотя и тесно им в сердце едином.

И землю ужаса ты полюбил тоже
с огненными следами шагов Божьих,
землю, где братья гибнут под огнепадом,
где смерть и величье точно два грома — рядом
стоят и крыльями бьют, ибо видят диво:
тех, что мертвы, и тех, что живы.

Еще полюбил ты речек путь серебристый,
и белые перышки мазовецкой Вислы:
и горы, сошедшие *на* землю как тучи,
и людей в неволе — ты с ними тут же.

Когда раскаленная сабля с тобою,
а ты — в ураганах последнего боя,
когда в оружие как в жизнь верится
и нету слез на лице и в сердце, —
как пушинку, как песню бросаешь тело,
бросаешь лицо, что в ручей глядело,
чтоб стало единым, — не в тиши отраженным,
а смерти черным крестом клейменным;
ты знаешь — от Бога эта любовь досталась,

для которой в могиле молодость промечталась.

22.V.1943.

Перевод Марии Петровых

* * *

Золотой, с прожилком белый
расколю я небосвод,
пред тобой орехом спелым
лопнет мир и оживет
пеньем вод, листвою шумящей,
птичий свист возникнет в чаще,
млечное ядро рассвета
и восход.

Ты увидишь превращенье
твердой почвы в мягкий луг,
из вещей добуду тени,
чей кошачий ход упруг,
тень оденет шерстью мглистой
цвет грозы,
сердечки листьев,
ливнем станет вдруг.

И поток, воздушный, рея,
как над райским кровом дым,
станет длинною аллеей,
запахом берез хмельным,
и струной виолончели
дрогнет пламя повители,
пчел крылатый гимн.

Вынь из ока мне осколок —
образ дней, где боль и страх,
черепа белеют в долах,
кровь алеет на лугах,
отмени же время злое,

рвы укрой волной речною,
сдуй с волос мне пыль и порох,
дней отпора
черный прах.

15.VI.43 г

Перевод Александра Ревича

С ГОЛОВОЮ НА КАРАБИНЕ

Круг сжимается, узкий и тесный —

слышу я в предутренней рани,
хоть крещен я в купели небесной
и поток обточил мои грани,
хоть меня через реки и кручи
переправила, пусть не без риска,
ветка дикой сирени и тучи
улыбались мне по-матерински.

С каждым днем, с каждой ночью все ближе

этот круг, нас за плотки хватая,
а когда-то для нас колосилась
нива тучная и золотая.

Голубиная юность хлестала
из меня и срывала ворота.

На дне смерти теперь вырастаю,
дикий сын своего народа.

Круг ножом рассекает, рая,
срежет день он, и ветер минет,
и просплю я время ваянья
с головою на карабине.

Занесенный событий порошей,
пополам разодранный кругом,
как гранату, я голову брошу,
лихолетьем загнанный в угол, —
оттого что жилось несмело,

а смелел, когда пахло кровью.

Гибну там, где величье дела
неразумной любил любовью.

4 декабря 1943 г.

Перевод Бориса Слуцкого

СКАЗКА

Шли к разошедшимся палубам люди,
шли с оружием и были грустны.

небо звонче серебряной лютни
откликалось дыханью весны.

Позади различали на судне
крестный ход или, может, рассвет.

Мудрых лип терпеливые будни
щебетали по-птичьи вослед.

А моря друг на друга кидало,
жесткой шкурою терлась вода,
что-то брезжило и пропадало
через миг или, может, года.

Звезды жались к воде, как голубки.

И с борта к ним тянулись рукой,
глядя вниз, в непроглядные глубы,
с той улыбкой — ты знаешь, какой.

Распахнув побережья вратами,
звали горы в зенит голубой.

В глубь небес они камни метали,
чтобы смерить ее под собой.

На заоблачном сеяли рейде
семя леса над зыбью морской,
золотыми деревьями бредя
с той улыбкой — ты знаешь, какой.

И листвой их виденья оделись,
и дубняк расшумелся рекой, —

словно в сердце свое загляделись
с той улыбкой — ты знаешь, какой.
Ну, а плотник поглядывал в оба,
чтобы каждому сладить свое —
им душистые доски для гроба,
а сыновьим ладоням — дубье.
И ушли. Пело время иное.
И ушли в белый дым пеленою
с той улыбкой — ты знаешь, какой.

23.VI.44 г.

Перевод Анатолия Гелескула

ИЗ ЛЕСУ

Как шум озерный, ночные пущи.
По мхам ступаешь, как по волне.
Колонны мрака растут все гуще.
Встревожил дали во тьме гнетущей
зловещий возглас как бы во сне.
Повозки, люди текут рекою,
во мгле туманной то там, то тут
оружье звякнет, а под ногою
вздывает волны земля, как море,
и отголоски ползут в просторе,
они тревожны — чего-то ждут.
Стройные парни. Ясные лица.
Сила подземная, темная сила
сушу ломает, золото вскрыла,
в панцире тесном земля томится,
рвется наружу, гудит, гудит.
Ясные лица! Круг окоема
накрепко схвачен клещами армий.
Как же ценою муки и крови
выкупить землю, милые парни?

Можно любить, но любить — это мало,
можно погибнуть — явишь лишь слабость,
юное тело в битве устало,
а сила темная все гудит.

Пуща все гуще. Пространство вбирает
пастью огромной все на земле.
Это — как будто сын умирает,
это — как будто отец остается.

Прошли, исчезли. Дым только вьется.
Возглас зловещий во мгле, во мгле.

27.VI.44

Перевод Александра Ревича

* * *

Когда, под ладонью брезжа, земля встает за ветрами
и реют большие птицы над облачною куртиной, —
беззвучно редет сумрак. И вот, прислонившись к раме,
горит она заряницей и песенку напевает.

И лентою издалека плывет ее теплый голос,
доходит к нему в потемки и шепотом овевает.
«Родной», — не смолкает песня и над головою кружит,
звенит волоска нежнее и так фиалками дышит,
что он, наклонясь над смертью и стиснув рукой оружие,
встает, запорошен боем, и — сам не поверив — слышит,
как в нем запевают скрипки, и медленно, осторожно
идет по лучистой нити пучиною тьмы кромешной,
и вот она рядом, нежность, как облако, белоснежна, —
и полнятся ею дали, и над тишиной тугою
один только голос нежен и близок — подать рукою.

«Родной» — не смолкает песня, и обнят он так приветно,
так сильно, как не обнимут, лаская всего лишь тело.

Ладони возводят землю за черным заслоном ветра,
и скачут по ним зверята, чертясь паутинкой белой.

И разливается утро. Заждавшийся холод стали.

Безмолвье с гадючьим свистом клубится у изголовья.

И сон обрывают слезы: винтовки загрохотали,

а снилось им, что зачали дитя, залитое кровью.

13.VII.44 г.

Перевод Бориса Дубина

3: ИЗ ДНЕВНИКА

От переводчика: Эти несколько отрывков взяты из того дневника Анджея Тшебинского, который он вел в последние полгода своей жизни (как пишет публикатор, он всюду носил его с собой, и на первой странице в конспиративных целях было написано «Дневник 1937 года»). Публикуемым отрывкам, связанным со смертью Боярского (9, 11.12), предшествуют записи о разгроме подпольной группы в Варшаве, аресте связной Тшебинского Ивоны (о ней см. в тексте), гибели связанного с Тшебинским сельского командира. Два последних публикуемых отрывка (108-109) — вообще последние записи в дневнике. 109 — единственный во всем дневнике датированный — 23 октября 1943. Видимо, после этого Анджей больше не носил дневник с собой повсюду, и только поэтому тетрадь сохранилась.

Ноябрьский номер «Искусства и нации» открывался траурным объявлением:

«Незабвенный Станислав Ломень [подпольный псевдоним Тшебинского], редактор „Искусства и нации“, пал на службе польской культуре, расстрелянный на улице Варшавы 12 ноября 1943 года. Смерть его трудно заключить в слова, нам остается внутренний наказ проведения в жизнь его мыслей».

Читатель заметит, что в траурное объявление полностью вошла формулировка «пал на службе польской культуре», о которой Тшебинский пишет (см. в тексте дневника) как о части некролога себе, не написанного, но рассказанного ему — планировавшегося «на всякий случай» — еще живым Боярским. И хотя понятно, что вышеприведенный текст писал кто-то третий, можно предположить, что эти слова — полу в шутку, полувсерьез — не раз повторялись в кругу этих юношей, каждый день ожидавших смерти. Своих друзей и своей собственной.

*

*

*

9. Естественно: это переживешь, всё вообще, за исключением смерти, — переживешь, но как же в конце концов выйдешь! Кем выйдешь? Когда прожиты такие дни, такие эпохи в несколько дней, и без единой мысли под черепом. Чад, осевший на кости. Чем в это вглядеться? — никакая мысль сюда не проникнет, — эпохи, целые дни призывания мысли. Что-то надо понимать. И ничего. Совершенно ничего. Только ночью не спишь и работаешь. Как обычно, якобы. Только с лица, темного, тяжелого, позволяешь ускользнуть улыбке. Что значит эта улыбка? Ничего. Знак. Попытка. Может, они это как-то поймут, может, как-то отзовутся, и уже не другой, своей собственной и в результате бессмысленной улыбкой, но — мыслью. Может, они в конце концов что-то подумают. Нас хватает на темную, незавершенную улыбку. Попросту брошенную...

Эти дни! Сна в глубоких креслах, населенных враждебными мне людьми. Или чужими, не враждебными. Такой жары. И во всем этом сознание угасания Вацлава. В жаркие дни — угасания. Я уже не видел его после того дня. Он был тогда такой естественный, обычный. Только то, что он говорил, было тревожно. Всею силой он искал своего стиля. Но этот стиль состоял в принудительном веселье, в кипении страстей... Уже в силу самого контраста прежних, «стильных» его слов, выговариваемых так слабо, — это выглядело страшно. Жена откинула одеяло. Целая половина тела в каких-то кровавых, разбухших от крови лоскутках. Она поднимала их целыми пластами. Волосы были откинута назад, он лежал скрючившись, неровно. В тот день, Боже, — все эти утренние поиски его, поиски его, эта боль и этот избыток воображения. А он в то самое время венчался с ней! Почти дословно на фоне смерти. (...)

11. Угасание Вацлава нашло конец. Нашло, потому что свою смерть надо именно отыскать, найти, ищешь ее еще до того. Он знал об этом лучше всех. Смерть по отношению ко всей этой бурной и неуголимой чудесности жизни — всего лишь наш приход к пристани обыкновенности. Мы совершенно естественны, как только перестаем существовать. Ты чувствовал это сам, друг мой. Ex post.

Я не пожал тебе руку, мой покойный друг. Между нами не закончилось просто. Там, где есть место дружбе, обычно нет места простоте. Не знаю, ты, может, вообще не назвал бы это дружбой. О, ты же не был таким обыкновенным, простым человеком, и у меня тоже были амбиции не быть простым человеком. Я искренен, Вацлав, у меня болит множество ран — поэтому я искренен. Ты ушел слишком таинственно, дорогой мой, слишком запутанно. Видимо, берег, к которому тебе было велено пристать, должен был полниться запутанностью. Скажи, видел ли ты в контуре этого берега — контур лика Его Самого? Ты же должен был видеть тогда удивительные и страшные вещи. Речь идет, видишь ли, о том, что так трудно и так больно одновременно, так не по-университетски учились мы нашей жизни, что теперь, когда ты научился и смерти, я тебя спрашиваю, дорогой мой...

Видел ли ты тогда — Бога?

Я искренен, Вацлав, и пишу это, ибо знаю, что ты есть. Мы суть — по-прежнему, оба. Это никем не должно быть прочитано. Это выглядит безнравственно и может оскорбить — такое прощанье с единственным другом. Но когда-то мы друг друга чуточку любили, потому что оба любили некий оттенок цинизма, и я верен этому теперь, как и ты сам, даже тогда уже, в больнице. Тебе можно теперь писать всё, потому что тебя нет в живых, потому что ты можешь смотреть на меня иначе. И я могу — нас, дорогой, не разделяет эта бурная и неуголимая жизнь. Между нами — спокойствие и хорошее настроение. Ты умер. Если бы вместо тебя умер я, если я еще умру — будет, было бы то же самое.

Знаю, тебе всегда импонировало, дорогой мой, умирание человека. Так же, как мне еще — несмотря ни на что — импонирует. Не знаю, насколько остро ты видел все в последний час. Тебе, кажется, было трудно дышать, дорогой. Но я знаю остроту зрения в минуту перед сном. Ты тогда, должно быть, очень много знал. Познал ли ты уже Бога? Ты все узнавал первым, немного раньше меня. Первым познакомился с комендантом, чем гордился. Первым познал Бога. Но меня тогда — всегда — как призрак — преследовала амбиция догнать тебя во всем. Не знаю... Догоню тебя и в этом.

Я обязан очень много обещать тебе, Вацлав. Одного меня на это хватит. Других хватит только на страдание. Нет, я не страдаю. Не умею. Уже не умею. Видно, жизнь нередко нас больше отучает, чем учит. Сегодня боль я испытываю уже только как форму усталости. Какая-то лишающая воли усталость всего, что в нас есть. Что во мне есть.

Я искренен. Не страдаю. Я обязан тебе за это очень многое клятвенно обещать. Но не сделаю даже этого. Не понимаю я тут себя, не знаю, Вацлав. Знаю только, что есть такой факт: никакой клятвы, никакого обещания.

Нас поглотит история. Молодых, двадцатилетних парней. Мы не будем Мохнацкими, Мицкевичами, Норвидами своей эпохи. Мы могли бы быть Рембо, но это мы отвергли, потому что шли дальше. Мы хорошо понимали друг друга, очень хорошо. Ты думал о себе как об исторической фигуре. Я тоже. Мы не были особым образом для истории позированы, нет, ведь наш жест должен был возникнуть естественно, просто — как тень наших деяний.

Почему я тебе ничего не обещаю, дорогой?

Ах нет, обещаю. Просмотрю твою ненаписанную драму, тот первый акт, о которым ты думал тогда, возле Коперника, уже раненный. Просмотрю бумаги, которые остались от того короткого, бурного пожара, каким была твоя жизнь. Да, я рассчитывал — тебе предстояло просмотреть после моей смерти то, что от меня, как пепел от пожара жизни, осталось. Ты достиг смерти раньше, впереди меня.

Может, я ее достигну иначе, в поле, с оружием в руках. Позже, чем ты, но зато моя смерть — моя, а не твоя — станет символом нашего общего искусства, мысли, культуры? Символом смерти современного художника. Художника Империи.

Умирается очень легко, легче, чем ты, — от пулеметной очереди. Я пишу это отчасти как письмо тебе. Мне не везло в письмах, в переписке с тобой. Ты не получил — хоть я тебе и писал — ни одного. Да и этого тоже...

Не знаю, как это будет позже. Буду ли я о тебе думать. Знаю только, что мы очень близко друг к другу, что я в любой час могу догнать тебя одним прыжком, одной пулей в затылок. Поэтому не прощаюсь с тобой

патетически. Так только, как каждый день. Как вечером каждого дня, когда мы заканчивали наши «циничные» рассказы о жизни. Ну да — только так, ничего сверх этого: привет. Привет, дорогой...

12. Ты умер, дорогой мой, взаправду, и я знаю, что меня ждет то же самое в моей смерти, не сон, не страдание, не образ умирающего, а оно само, само умирание. Настоящая смерть.

Я немного боюсь, что вопреки освоению с этой мыслью могу тогда несколько осрамиться. Что не умру так надежно, так безоговорочно, так крепко, как сегодня обещаю это себе. Что через сердце в такой миг может пролететь тень. Незвестное. Удивление невыразимое, лишь ощущенное, безграничное, бездонное, такое только, какое бывает, когда увидишь Истину.

Но ведь и перед нашими авторскими вечерами нам случалось дрожать. Помнишь? И мне, и тебе. Потом мы преисполнились цинизма и перед этим: это опять-таки не было таким грозным, таким нервирующим.

Смерть — единственный и трудный авторский вечер. Помоги мне, умерший друг, в этот час. В эту секунду опасную. Отними у меня дрожь и дай гордость чувства...

Очень много вещей пропало, Вацлав, — в общем-то все было еще в нас, между нами. Столь ничего, столь до смешного мало — за нами.

Но я удивляюсь и пожимаю плечами, когда мне говорят: это любой ценой не должно погибнуть, пропасть, это нужно как-то...

Только раз за последнее время я употребил слова «любой ценой» — полностью это понимая. Раз, то есть тогда, когда посылал Ивоне в тюрьму приказ молчать: «Вы должны молчать любой ценой. Обо всем». Не очень, однако, знаю, не умолкла ли она в результате навсегда или еще жива. Были, говорят, массовые казни. Тогда — с Ивоной — я это понимал.

Но теперь не понимаю. Не понимаю. Мне очень больно, но я и взаправду не понимаю. Даже себя самого теперь... Вацлав дорогой, помнишь, как весело ты обещал мне перед моим планировавшимся уходом на ударную операцию прекрасный некролог в «Искусстве и нации». Помнишь ту нашу циничную радость, ту простоту? Некролог. Какой, Вацлав? Такой общепринято скудный, простой, по-мужски сухой, черный — и ничего больше? Редактор «Искусства и нации», второй редактор, пал от вражеской пули на посту, на службе польской культуре? Да, и ничего больше, Вац? (...)

108. Тревожное время. Акции и реакции. Казни групп по 20 человек на улицах города. Отсутствие Лавинской. О ней ничего неизвестно.

Понемногу пишу роман. Снова бываю у Анны. Быть может, это неверно. Как-никак, а я люблю эту женщину и думаю, что поведение в таких обстоятельствах — верное — не всегда можно бы назвать верным. Денег я лишен. Вообще отрезан от нормальной жизни. Потерял надежду хоть на какое-то жилье. Несмотря на это чувствую себя в хорошем настроении — это не настрой осеннего опадания, страх!

Если бы не тревога, которую я испытываю за Магдалену [подпольный псевдоним сестры Тшебинского], Анну и еще нескольких человек, — это был бы самый спокойный период этого года — пожалуй...

Не хватает мне, кстати, времени писать здесь. Пишу — дальше — свой роман.

Дня 23.10.43

109. Три или четыре дня подряд бывал у Анны. Последнюю ночь даже провел у нее. Отстраивается снова — уже перечеркнутая — «проблема» Анны. Быть может, я ее люблю, и не следует от этого отпираться — но все же мы не должны видаться слишком часто. Писателю, художнику нужно много одиночества, чтобы творить. Одиночества или холода. Тепло убивает творца в человеке, острый контур мира расплывается в зеницах.

Перевод Натальи Горбаневской

4: СТИХОТВОРЕНИЯ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ УЙТИ

Страна моя вся седая,
затянута мглой осенней,
но прежде чем попрощаюсь,
махнув рукой из траншеи,
но прежде чем соглашусь на
венец из липы терновой
и в безоружное сердце
тьма мне вонзится снова, —
пусть молнии плач беззвучный
в вечность меня призовет,
я пальмой овею тучи,
я лбом пробуравлю лед.
По мертвым костям шагая,
служу с огнем смешаю
на зависть звезде, что пылает
над горящей моей головой,
верну я любовь и юность
невинным снам человека,
над которым склонились
ангел, ослик и вол.
Как птица в дыму, сквозь пламя
пройду босыми ногами,
чтоб под сгоревшей березой
похоронить муравья —
Брошусь ладонями в воду,
чтоб не вспыхнула кожа,
когда под крестом
буду я.

Перевод Андрея Базилевского

* * *

И вот я здесь — и всё нипочем мне,
я крупней стрекозы, но до чего ничтожен

на фоне струйки дыма, как спичка тонкой,
над моим малиновым домом.
Солнце за мной, убогим, гонится по пятам,
неотступно и верно,
а небеса, как открытое веко,
печально меня искушают: останься!
Порог не пускает из дома — челюсти стиснул:
только тут — заявляет — будь,
как я, мертвым и неказистым,
хотя во мне тоже есть — и света, и ночи суть;
тебе не справиться с дерзким делом,
слышишь: сердце ёкает злостно,
останься — пусть празднует тело,
хоть у грома и кровь на деснах,
и других он упрямо баюкает,
но смотри — вон забрезжил свет
над планеткой, такой малюсенькой,
колеблемой сонным ветром.
Месяц белым крылом ударяет,
дом пресветлый на крутизне:
твоя родина — сон без края...
Тяжело умирать во сне.

Перевод Андрея Базилевского